



Лев Усыскин

РУССКИЕ ИСТОРИИ

рассказы

Лев Усыскин

Русские истории. Рассказы

«Издательские решения»

Усыскин Л.

Русские истории. Рассказы / Л. Усыскин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-852716-6

Действие в рассказах, составляющих данный сборник, происходит в российском прошлом — в промежутке между 1801 и 1943 годами. Несмотря на тщательность воссозданной исторической фактуры это, конечно — стилизации. Стилизации, заставляющие вспомнить русскую классику — от Гоголя до Тынянова, писателей начала XX века, и далее, вплоть до Василя Быкова. Иначе говоря, автор ведет свой довольно сложный разговор на языке русской литературной традиции и на материале русской истории. Разговор о вечном.

ISBN 978-5-44-852716-6

© Усыскин Л.

© Издательские решения

Содержание

Происшествие	6
На войне	10
Биография Пушкина	16
Игра	25
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Русские истории Рассказы

Лев Усыскин

© Лев Усыскин, 2017

ISBN 978-5-4485-2716-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Russian (Hi) stories

Copyright

© 2008 Лев Усыскин

Происшествие

С митавскими фон дер Паленами мы состоим в отдаленном свойстве через Анну Вильгельмовну Штокк, вторым браком бывшую замужем за генерал-майором Аполлоном Николаевичем Конеездовым, в то время – командиром одного из армейских полков, расквартированных в Малороссии. Возможно, благодаря этому обстоятельству, а равно и благодаря происшествию, имевшему быть седьмого марта, когда государь резко выговорил мне при разводе и губительные последствия которого лишь чудом предотвратило вмешательство Великого князя Константина Павловича, я был вовлечен Петром Алексеевичем Паленом в число заговорщиков – участников предстоящего возмущения.

Я был с генералом Бенигсеном; в составе группы из двух или трех десятков гвардейских офицеров мы проследовали за капитаном Аргамаковым через Рождественские ворота Михайловского замка и, разоружая по пути захваченные врасплох семеновские караулы, быстро достигли покоев государя... развязка случилась скоро и бесповоротно – я видел простертое по полу уже безжизненное тело императора – пятна крови на исподнем были свежи и выдавали недавнее насилие... помню, общим чувством было тогда недоумение: едва ли кто понимал толком, что же следует делать далее – поминутно отдавались и, как правило, тут же отменялись многочисленные распоряжения – все же несколько времени спустя я услышал, как послали за лекарем, даже, как будто бы, за двумя сразу – шотландцем Гриве и шотландцем же Гутри – надо было прибрать покойного...

Прибытия их, однако, я не застал – в четвертом часу, скоро присягнув вместе с преображенскими офицерами, я вдруг нашел себя уже по эту сторону Воскресенского канала, саженях в полутораста позади экзерциргауза – никто не обратил на меня внимания, и я, наверное, впервые за ночь ощутил себя предоставленным собственному разумению...

По совокупности пережитого, чувства мои, усиленные к тому же в значительной степени шампанским, выпитым давеча у Талызина, что называется, блуждали во мраке неприкаянности: о том, чтобы вернуться к себе на квартиру, не было и речи – малодушие властвовало надо мной безраздельно, побуждая искать общества – общества кого-либо, кто не был бы причастен случившемуся, кто провел бы эту ночь в собственной безмятежной постели... одним словом, я отправился к чудаку Протасову 2-му, снимавшему тогда пол-этажа у ***-ских на Фонтанке.

Как я уже сказал, путь мой был весьма занимателен: меня то выносило на самый край гранитной набережной, то прижимало вплотную к безжизненно-черным окнам нижних этажей – первый же будочник вполне мог подвергнуть меня аресту; впрочем, случись он в действительности, – всего вернее, счел бы за лучшее не связываться: при мне была шпага, пистолеты и, Бог его знает, что на уме у гвардейского офицера, бредущего в четыре утра петербургскими улицами...

На углу Итальянской, против дома ***, меня окликнули. Я поднял голову: в нескольких шагах прямо передо мной стоял невысокого роста офицер в опущенной почти на глаза форменной шляпе. Газа в те годы еще не было – масляные фонари, невзирая на изрядное их количество, свет давали паршиво: нередко случалось совсем близко разойтись со знакомым, так и не признав его... Так вот, несмотря на недостаток освещения, я разглядел на прохожем как будто бы преображенский мундир, штаб-офицерский шарф, ленту – и что-то знакомое показалось мне в его облике...

Я приблизился – и похолодел: передо мной живым и вроде бы вовсе невредимым стоял император Павел Петрович, лишь час тому назад доподлинно виденный мною покойным...

Что тут сказать, ошибки произойти не могло, это был он – не раз и не два случалось мне видеть государя не далее, чем в двух шагах от себя... все черты были налицо – и маленький, вздернутый носик – пища многочисленных анекдотов, и, напротив, большие чувственные

глаза – за вычетом старшего, Александра, унаследованные, кстати сказать, всем его потомством, – и здесь нелишне отметить то впечатление, что возбуждал в нас тогда правнук Петра Великого: помимо многочисленных свидетельств печального толка, несправедливо было бы опустить то обстоятельство, что во всем облике Павла Петровича, как будто бы весьма некаким, было однако нечто... некоторая живость, простота порывистости – качества, в полной мере которые я сумел оценить лишь много позже, когда все уже было заковано в стоячий александровский воротничок...

Однако ж я должен вернуться к событиям той ночи – тем паче, что тогда мне было не до философических экзерсисов: призрак стоял передо мной, призрак заглянул мне в очи и, разжав уста, произнес, взяв меня за руку:

– Позвольте, господин гвардии поручик...

Тишина стояла невероятная; слова высыпались горстью серебряных монеток:

– Позвольте... я узнал вас... вы были с ними...

Впору было лишаться чувств, под стать уездной кокетке: выручило меня, по всей видимости, все то же талызинское шампанское да изрядный морозец, по обыкновению прихвативший вслед погожему деньку одиннадцатого марта – он и трезвил и куражил в одно время... Все-таки, до некоторой степени, я был готов тогда к разного рода необычайным поворотам – слишком уж неординарными были события предшествующие, чтобы где-то в глубине души не затаилось предчувствие того, что некие иные, столь же неординарные им воследуют, – в конце концов, я был молод, только что счастливо избежал смертельной опасности и... право, чего ж вы еще хотите от измайловского поручика!

...Однако я вновь позволил себе забрать несколько в сторону – да и немудрено: сейчас, по прошествии стольких лет, едва ли мне удастся восстановить доподлинно произнесенное тогда государем, ровно как и робкие слова, сказанные мною в ответ, – помню, впрочем, что мои объяснения, а ссылаясь я, по всей видимости, на «обязанность сопровождать старшего по должности», не произвели на него ровным счетом никакого впечатления – император взял меня за руку и увлек к набережной:

– Скажите, господин гвардии поручик... среди тех, в замке, я видел... мне показалось, что я видел... Его Высочество, цесаревича Константина, не так ли...

Сквозь сукно мундира я ощутил маленькую цепкую кисть, даже как будто бы теплую:

– Вы боитесь меня огорчить, Конеездов... что ж, понимаю... я ведь запомнил вас: седьмого числа я был с вами резок... право, сударь: это служба, перед ее артикулом мы с вами в равной степени пешки, не так ли?.. И нет причины расстраиваться...

Столь участливый тон, взятый призраком, вернул мне некоторую толику самообладания – кажется, я промышал что-то в ответ, ибо вслед за тем Павел несколько раз согласно кивнул:

– Что ж, хорошо... хорошо, Конеездов... не будем об этом сейчас – я стеснен во времени...

Он задумался. Потом вдруг порывисто обернулся ко мне – теперь мы стали vis-a-vis:

– Право, у меня очень мало времени, поручик... послушайте – обстоятельства вынудили меня... не то, не то – простите, мне сейчас очень непросто подбирать слова – они ограничены более, нежели я прежде думал... и потом...

Павел нахмурился, но тут же его как будто что-то осенило:

– Давеча вы были в замке – понравился ли вам замок?..

Я вздрогнул, судорожно попытался вообразить себе все эти бесчисленные причудливые – ни одного прямоугольного в плане! – придавленные низкими потолками апартаменты, испещренные мраморами и инкрустацией – будто и впрямь вырубленные в скале какой-нибудь Корсики либо Мальты – ни прежде, ни в этот день Михайловский замок не мнился мне иначе, чем

манерный уродец, по случаю занесенный во град Святого Петра с каким-нибудь иноземным цирком...

– ...не находите ли – сие есть редкий в наш век пример совершенства... жаль, старику Баженову не довелось... Но каков Бренна, право!..

Император, казалось, воодушевился:

– ...господство соразмерности... вычурности необходимый предел положен – всюду царство Евклидовой Гармонии...

Павел Петрович глядел теперь куда-то поверх моей головы:

– ...и знаете, Конеездов... главное ведь не в этом – а то, что сие есть дом... сие есть семейный очаг и убежище... мальтийского романтического рыцаря...

Мысли мои путались; временами голос государя будто пропадал, сливаясь с ветром, потом возникал вновь:

– ...мне жаль отца... я читал его письма... те, что были писаны в Ропше, и другие... знайте же, поручик, – отец мой был кротким человеком... в тот жестокий век, когда кроткость была не в чести... ведь он так и не был коронован...

Что-то похожее на тошноту подступило к горлу – видимо сие не замедлило отразиться на моем лице, ибо император вдруг прервал свою речь:

– Что с вами, Конеездов?.. Вы взволнованы чрезвычайно... слушайте, нынче утром мне был представлен сервиз изумительно тонкой работы – с картинами замка... э, да что же Вы, господин гвардии поручик?..

Ноги едва держали меня.

– Полноте, Конеездов... Вы честный молодой человек... что до происшедшего нынче ночью – то ведь это уже до Вас не касается... успокойтесь, право... Вас ждет блестящая будущность... успех, воздаяние почестями...

Он вновь взял меня за руки и с силой тряхнул, так, что я принужден был шагнуть назад – сие уже было чрезмерно, припадок подобострастия объял меня, я вытянулся во фронт как нашкодивший штык-юнкер и, разжав посиневшие губы, с усилием выпихнул, заикаясь:

– Дозвольте сопровождать вас, Ваше Величе...

Но тут произошло и вовсе немыслимое: едва только звуки моего голоса достигли собственных моих ушей, как все вдруг сдвинулось со своих мест – мощеная улица, ограда набережной, окна домов, фонари... какое-то бешеное движение – я ощутил, как земля уходит из-под ног, – нельзя было вовсе ничего разобрать: поминутно ускоряющийся хоровод огней и только... и над всем этим – жуткий, нечеловеческий, раскатистый хохот...

И разом же все стихло. Я был один. Ночь. Зябко. Внизу подо льдом текла Фонтанка – на той стороне, у Шереметевых светилось несколько окон... Изумленный, я побрел быстрым шагом прочь...

<...>

...есть, однако, еще свидетельства о покойном императоре: говорили, что видели его той же ночью в Коломне, есть показания будочника, утверждавшего, что император-де вышел под утро погреться к его костру – с его слов выходило, что Павел Петрович будто бы жаловался на дурное самочувствие и, вместе с тем, не преминул заметить будочнику небрежность форменного обмундирования, впрочем, вполне заслуженно...

Скончавшийся недавно отставной майор Рябчик пишет в своих мемуарах о том, что, будучи в ту ночь дежурным офицером на Московской заставе, видел в начале пятого часа «некое известное лицо», пешком удалявшееся в сторону Москвы. Солдат, стоявший на часах возле шлагбаума – повествует далее Рябчик, – расхаживал взад и вперед «как если бы это было пустое место», «на окрик мой лицо никак не ответило, не замедлило и не ускорило хода – и, однако, вскоре вовсе растяло в темноте...» Стоит заметить, что небезинтересные во многих отношениях записки Рябчика едва ли заслуживают, тем не менее, излишнего доверия ввиду

необузданности нрава автора и его известной всем неумеренной склонности к горячительным напиткам.

5.09.92 – 22.11.92

На войне

<...> ...и оставив вещи мои попечению единственного слуги в немецкой гостинице, в начале пятого выехал из Хемница. Уже светало; фарфоровые черты саксонского утра – сглаженные, покойные – проступали повсеместно, не нарушая ничем заведенного для тех мест порядка, – если не считать, впрочем, обывателей на улицах, числом несколько более обычного для такого времени, – торопившихся, как видно, решить дела свои перед лицом зыбкости военного положения.

В прежние месяцы война обходила стороной сей благодатный край: в деревнях можно было найти провиант, жители не были еще напуганы в полной мере и не прятались в горы, едва заслышав приближение войск. Так было – и вот счастливой пасторали этой, как оказалось, настал конец вследствие внезапного маневра, предпринятого злым гением марсовой науки, невзирая на то, что на борьбу с ним теперь выступили все просвещенные монархии Европы: враг был не далее, чем в двадцати верстах, и немногие силы союзников ему противостояли...

Вид старательного пахаря, приступившего к работам своим, вызывал в душе лишь касандровы слезы сострадания, ибо разум мой подсказывал предвидеть ему участь, подобную участи его смоленских либо могилевских братьев, – впрочем, надежды на военное счастье, столь часто улыбавшееся нашему оружию в последнее время, не только не покидали меня вовсе, но напротив – крепили с каждым новым донесением, каковым бы ни было содержание оно: ибо молодости свойственны романтические надежды, а кроме того, как говаривал некогда мой батюшка, плох тот статский, кто не сумеет иногда побыть военным, хотя бы и мысленно. Бог ему судья – старик довольно насладился армейской кашей, прежде чем стал сенатором, – и кто знает, может снискал бы и большего, если б не известная многим язвительность его речи: что хорошо сенатору – порой негоже обер-прокурору, но умолчу...

Итак, вот утро, и позади меня Хемниц, река по правую руку, а впереди – впереди лишь туманные предвкушения, чего именно – бог весть, да известный трепет пополам с любопытством. Таковой трепет, к слову сказать, испытывают, что бы ни говорили они в дальнейшем, даже самые отъявленные храбрецы, приближаясь, что называется, вплотную к арене ристалища: тому способствуют и всегдашние предуведомляющие звуки канонады, и неизменно блуждающие в темных закоулках души, словно некий Агасфер, знакомые каждому мысли о смертном жребии и жизни вечной. Тем более верно все это для того, кто оказался на войне впервые, впервые же узрев собственное честолюбие заключенным в стальные оковы Случая да Божьего Промысла...

Как я уже сказал, не отъехав и десяти верст от Хемница, я услышал густой бас орудийной беседы, на протяжении еще двух или трех верст бывший, впрочем, единственным напоминанием о недалекой войне. Однако вслед за тем, едва дорога, отвернув от реки, принялась огибать довольно пологий, поросший ореховым лесом холм, навстречу мне выскочила, принудив даже весьма спешно посторониться, военного образца повозка, а еще спустя пару минут я вдруг неожиданно для себя въехал в расположение какого-то большого русского обоза. Следует сознаться, столь неожиданная метаморфоза ландшафта обескуражила меня в известной степени – я тотчас же остановил коня и принялся, глядя вокруг себя, выискивать того, кто мог бы указать нужное мне направление, надеясь, что таковые разыскания не будут долгими. Тем не менее, я едва не ошибся: уже в следующий момент я с удивлением обнаружил, что не привлекаю ровным счетом никакого внимания, как если бы меня не было вовсе – среди множества подвод, тюков, наваленных друг на друга, какого-то еще военного имущества в самом деле копошилось несколько десятков человек в мундирах – и однако никто из них не поднял головы на оказавшегося посреди них незнакомого всадника в статском платье: словно бы все

это происходило где-нибудь в Пензе либо в Коломне, разомлевшей от своей вековой сонной неподвижности, а не посреди истерзанной войной Саксонии.

Наконец, я отыскал глазами человека, который, во всяком случае, никуда не спешил и, стало быть, его не пришлось бы, по меньшей мере, хватать за обшлаг рукава для того лишь, чтобы обратиться с вопросом. Таковым человеком оказался молоденький еще – от силы, моих лет – чернявый капрал, примостившийся поверх какого-то длинного крашеного в зеленый цвет деревянного ящика, – я едва не наехал на этого человека во всеобщей обобщной суматохе, до того он был незаметен: сгорбленная спина его цветом мундирного сукна почти сливалась с досками ящика, лица большей частью не было видно, и только когда я спешился, стало понятным занятие, которому капрал отдавался с самозабвением, достойным иного времени и иного места: молодой капрал что-то писал, макая облезлое пожелтевшее перо в миниатюрную походную чернильницу.

Итак, я спешился и, опершись рукой на этот же зеленый плохо выструганный ящик, громко, но вместе с тем и весьма любезно спросил не прервавшего, несмотря на это, своих трудов капрала о местонахождении лица, с донесением к которому был послан. В ответ чернявая головка на миг оторвала свой донельзя упоенный внимательным сосредоточением, прямо-таки – алчный какой-то взгляд от кончика пера, полоснула затем меня этим взглядом вскользь, и, признав, как видно, в полной мере безвредного, с ее точки зрения, статского, тут же вернулась обратно к бумагам, так и не произнеся ни слова. Я вынужден был повторить свой вопрос несколько пространнее, однако с нотками нарождающегося недовольства; на этот раз капрал все же соизволил отложить в сторону перо, распрямил спину и, разминая попутно затекшие пальцы рук, взглянул на меня так, словно бы мы с ним провели перед тем изрядную толику времени в неспешной дружеской беседе: «Ну, что ж вы, Ваше Благородие, чай, не видите – вон же дорога, туда, направо – через две версты как раз на мост и выводит... чего спрашивать, коли и так видно!...» Он состроил на лице гримасу недовольства. «Не больно-то ты любезен, а?..» «Помилуйте, Ваше Благородие, я вот сижу здесь, наградные представления переписываю... какая уж тут любезность?! меня батальонный казнит, коли не поспею... поди, через час здесь француз будет, а у меня конь не валялся, можно сказать...» «Погоди, погоди... что ты мелешь?.. какой француз?..» «Какой, какой?.. такой!.. такой, какой всегда француз бывает...» В его ворчании сквозила явная насмешка – уже знакомая мне, низвергающая чины и звания насмешка бывалого вояки над новичком. Надо ли объяснять, что я не стал продолжать с ним беседы, невзирая на известное замешательство, вызванное услышанным. Напротив, минутой спустя я вновь был на коне и, ведомый, помимо обычного честолюбия, также и зловещей притягательностью, каковой обладают всегда места многолюдной гибели, где царствует лишь рок, направил свой путь навстречу нарастающему гулу батарейной пальбы.

Путь мой был, однако ж, недолог. Отъехав с версту, я вынужден был уступить дорогу обогнавшему меня полуэскадрону драгун, двигавшихся быстрым шагом. Их подобранные в масть лошади прошли чуть не в сажени от меня – я даже успел расслышать обрывок какой-то фразы, странной, как мне тогда показалось, в устах направляющегося на весьма вероятную смерть воина: «...а пятиалтынный-то Гришке отдай, слышишь... отдай...»

Кто был этот Гришка и почему столь важно было отдать ему пятиалтынный, я так и не узнал – мгновение спустя походная колонна меня миновала, оставив за собой изрядное облако пыли, которая, впрочем, довольно быстро улеглась. Чуть помедлив, я отправился следом – тем временем дорога, в полном соответствии с предсказанием неласкового обозного писаря, свернула от реки вправо и пошла вдоль возвышенности, одной из многих в той местности. Не обманул писарь и в том, что касалось моста – почти сразу же я увидел его внизу впереди себя. Несколько далее, за мостом, дорога, подымаясь, вновь сворачивала вправо, тут же скрываясь за крутым лишенным леса склоном холма, вершину которого венчали какие-то мрачные готические руины, при других обстоятельствах несомненно показавшиеся бы мне живопис-

ными. Сейчас же мой взор сперва привлекла небольшая деревушка на той стороне у въезда на мост – подле дюжины ее аккуратных домиков змеилось что-то бесформенное, кое-где окутанное не то дымом, не то пылью, ежесекундно распадающееся на части и вновь на миг собирающееся воедино перед тем, как распастись в новый черед: по всему, это и были французы... Далее я скользнул взглядом по мосту, успев заметить маленькие человеческие фигурки, перебегавшие взад-вперед, пополам согнувшись, – понять, кто это были, наши либо противник, я так и не смог, как не понял и сути происходящего на мосту в тот момент: в чьих он был руках и был ли он по-прежнему пригоден для переправы.

На нашей стороне берег, поросший в обе стороны от моста кустарником, выдавал густыми клубами дыма расположившихся вдоль него многочисленных стрелков. Дымные же клубы указали мне и местонахождение русской батареи: чуть далее влево над берегом. Судя по всему, батарея вела огонь по той самой, имевшей несчастье расположиться у самого моста деревушке, – мне показалось даже, что один из её сказочных домиков уже объят пламенем, хотя, возможно, это был всего лишь отблеск утреннего солнца...

Несколько выше батареи и, стало быть, ближе ко мне виднелась рукотворная, вычищенная ровная площадка, наподобие тех, что устраивают над рекой, дабы было где обывателям прогуливаться в теплые дни – с барышнями либо с романтическими книжками в руках... Нынче же ее, как видно, определили для размещения командования – я разглядел большую группу спешившихся военных, чуть поодаль стояли их лошади, две или три немецкие повозки, еще что-то, чего я издалека не разобрал. По всей видимости, это и была ставка генерал-майора Чухломского, в которую я был отправлен с донесением и которую нашел с гораздо большими трудами, чем мог предположить, два дня назад оставив Дрезден, – укрепившись в этой уверенности, я слегка дал шпоры своему верному Барсу и, пригнувшись к его горячей шее, двинулся вниз по узкой каменистой тропе.

Первым, кто встретил меня в ставке генерала Чухломского, был щеголеватый белокурый адъютант, заметивший, как потом оказалось, меня еще на подъезде – едва я возник в его поле зрения из-за вершины холма. Я представился и, сообщив о цели своего прибытия, попросил доложить обо мне генералу, как только станет возможным, – в ответ адъютант, только что слушавший меня с каким-то странным, едва ли не восторженным выражением лица и поминутно кивавший в согласии головой, неожиданно пожал плечами: «Как вам будет угодно, сударь... только сейчас Василий Дмитриевич с полковником Деревлевым занят, так что вам уж придется обождать несколько... впрочем, вы можете передать мне ваши бумаги и ехать себе назад – я имею на то полномочия, а вам не придется тратить время понапрасну... или вы не спешите?..» Я заверил его, что не спешу. «Тогда милости просим на наш огонек, как говорится... не судите строго: располагайтесь!..» Он подозвал своего денщика, поручил ему моего коня и, обернувшись ко мне вновь, произнес в совсем ином уже, участливо-дружелюбном тоне: «Вот так вот служим Отечеству... да... а вы, позвольте полюбопытствовать, – давно из России?..» «Третий год как... сперва при нашем консуле в Копенгагене, теперь здесь вот, в Дрездене...» «Лихо...» – адъютант на миг вскинул бровь, что должно было, по всей видимости, означать уважение к услышанному – «...а на войне случалось бывать прежде?..» «Нет...» – Я покачал головой. «Тогда вам в самом деле будет здесь любопытно... в некотором смысле, наш ратный труд во всей его рутинной непредвзятости... извольте, сударь, наблюдать...» Некоторое время мы оба молчали, глядя на мост, – адъютант напряженно щурился, я же сгорал от любопытства, однако стеснялся делать какие-либо вопросы, боясь обнаружить себя невеждой. Все же любопытство возобладало – пару минут спустя я оторвался от созерцания кровавой мистерии, разворачивающейся внизу, и, полуобернувшись к собеседнику, как бы невзначай поинтересовался голосом столь ровным, сколь это было возможно, не рискованно ли находиться здесь нынче. Отмечу в свое оправдание, что более мне по сердцу был бы положительный ответ – однако и здесь меня ждало некоторое разочарование, хотя, вопреки извинительным в молодости опа-

сениям, вопрос этот не вызвал у моего ментора даже и тени снисходительной насмешки – напротив, адъютант лишь пожал плечами и, по-прежнему не отрывая глаз от моста, заметил, словно бы рассуждая с собою самим, что теперь уже угрозы нет никакой вовсе, поскольку французы как раз заняты передислокацией батареи на новую позицию, тогда как еще час назад они били вполне резво с того вон холма – с этими словами адъютант указал рукой на *нечто*, находящееся саженях в двадцати от нас, однако до того мною не замеченное. Это *нечто* представляло из себя страшное месиво – недавно еще бывшее, по всему, конем и его всадником, незримой и неясной волею в миг единый возвращенное в небытие. «Капитан Веденеев, извольте видеть, Сашка... не повезло, знать... милейший был человек – неприменный *душа компании*... большой был партизан зеленого сукна, доложу вам, – а вот оно как поворотилось...» Адъютант вдруг обернулся резко, словно бы стряхнув с себя принявшие невеселое направление мысли, вновь сощурил глаза, глядя куда-то в сторону, и наконец, удостоверившись в чем-то, поманил меня жестом руки: «Теперь пойдемте, сударь... я вас представлю сейчас генералу...»

Генерал-майор Василий Дмитриевич Чухломской, седой сухонький старик – впрочем, в то время, наверное, едва ли не всякий мужчина в годах казался мне стариком, – вопреки ожиданию, имел вид ничуть не грозный и не свирепый, аки Сципион, – напротив, расхаживая по краю площадки перед группой нарочито-серьезных офицеров, он выглядел даже до некоторой степени легкомысленно-беззаботным, что, на мой неопытный взгляд, никак не вязалось с представлением о том, как *должно* выглядеть полководцу, только что пославшему одним своим непререкаемым словом несколько тысяч других людей в огонь. До некоторой степени изумившись, я, по причине той же самой своей неопытности, отнес это на благополучный ход сражения – давешние же слова обозного грамотея мысленно списал обыкновенному ворчанию тыловой крысы, будучи о таковом ворчании наслышан прежде, – и однако ж ошибся в который раз за этот день: едва я, отрекомендовавшись и передав доставленные бумаги, уже с ведома их адресата, в руки тому же самому щеголеватому адъютанту, произнес, стараясь придать своему голосу наибольшую толику любезности, что-то вроде «уместно ли поздравить вас с очередной викторией?», как взгляд генерала Чухломского вдруг резко переменялся, из буднично-домашнего став в одночасье сухим и усталым. «Помилуйте, молодой человек... какая виктория... как можно... совсем даже наоборот – здесь нам нынче нос и утерли... да-с... так ведь, Андрей Семенович?» – с этими словами генерал обратился к стоявшему рядом столь же немолодому, как и он сам, кавалерийскому полковнику, – «вот, Андрей Семенович, сенатора Аполлона Николаевича Конеездова сынок: прошу любить и жаловать... помнишь Конеездова, а Андрей Семенович?.. не помнишь?.. у фон Шауба в адъютантах состоял в Ясскую кампанию... да-с... а вот сынок его родной – еще два дня тому назад, верно, мазурку танцевал в Дрездене, а теперь, стало быть, – прибыл к нам... почитай, в самый, можно сказать, волнующий момент, не правда ли?.. ожидал увидеть, как водится, *триумф русского оружия* и все такое, о чем в газетах пишут... да-с... да только придется, уж по всему, обождать, этого ради, другого раза... верно я говорю, а, Андрей Семенович?..» Услышав эти слова, кавалерийский полковник, разглядывавший перед тем что-то в зрительную трубу, оторвался от своего занятия и, обернувшись к Чухломскому, согласно кивнул: «Точно так-с... одолевает неприятель, ничего не попишешь... уж в другой раз сочтемся, если Господь приведет, конечно...» Стараясь не выказать себя совершенным простаком, я полюбопытствовал о происходящем на мосту – в ответ мне было сказано, что мост вот-вот перейдет в руки неприятеля: что-де загодя был отдан приказ его поджечь, однако «каргополыцы сплеховали под огнем», и теперь французы беспрепятственно перейдут на эту сторону, едва только расчистят берег от наших стрелков картечью. В подтверждение этих слов я увидел на французской стороне возникшие одно за другим четыре белых дымовых облачка, несколько мгновений спустя достигших моих ушей гулками хлопками разрывов. Надо сказать, что на окружавших меня офицеров сии звуки также произвели впечатление самое непосредственное: двое из них были тотчас посланы к нашей артиллерии, прочие

оживились весьма, и, указывая руками в направлении вражеской батареи, принялись обмениваться на её счет довольно громкими замечаниями – смысл их был мне не вполне понятен, однако ясно стало, что сражение теперь вступило в решающую свою стадию. Какое-то необъяснимое вдохновение передалось мне от присутствующих – казалось, еще мгновение, и я соединюсь с ними в порыве гражданского великодушия: хотелось куда-то лететь, что-то делать, чем-то помочь – и, однако, неясно было, что делать и чем помочь...

Не помню, сколько времени пребывал я в таковом состоянии духа – должно быть, все же не слишком долго, ибо в таком случае кипевшая во мне энергия нашла бы тот либо иной для себя выход – всего вернее, я принялся бы делать вопросы, столь же неумные, сколь и неуместные, – и тем, наверное, бесповоротно уронил бы себя в глазах занятых исполнением возложенного на них долга офицеров. По счастью, этого не случилось. Помню только с достоверностью, что вывел меня из такового чрезмерного возбуждения, взявши под руку и принудив пройти с ним вместе несколько шагов, сам генерал Чухломской. «Ну, молодой человек... вы, я вижу, горазды все близко к сердцу воспринимать... так нельзя, ей-богу, нельзя... это ж ничего, ровным счетом, ничего сверх обыкновенного – в полной мере предусмотренные уставами военные будни... да, именно так: военные будни и ничего больше!.. сегодня они нас – стало быть, завтра мы их непременно... а как же иначе?.. только таким путем...» Его голос сделался по-семейному ласковым: «Вы лучше не берите все это себе в голову, юноша... а скажите мне вот что... скажите мне, как там Дрезден?.. не правда ли, изумительный город?.. жемчужина, просто жемчужина!.. мы там стояли неделю... одну лишь неделю, увы!.. лишь неделю, да... изумительный, бесподобный город: Данциг перед ним – никакого сравнения: что моя Минаевка, все равно!..» Я принужден был едва не подавиться своим недоумением: в этот грозный момент беседовать о красотах Дрездена! Когда враг, быть может, уже ступил на наш берег, и русские солдаты, как никогда прежде, нуждались в опытном и отважном руководстве! Однако ж я, стараясь соблюдать правила вежливости, отвечал, хотя и немногословно, на все обращенные ко мне вопросы – в этой более чем странной беседе, не прерываемой ни рапортом, ни приказом – словно бы вокруг и вправду была какая-нибудь Минаевка! Так, в непринужденном разговоре, мы пересекли площадку из конца в конец и вновь остановились возле полковника Деревлева с его неизменной зрительной трубой. «Что ж, Василий Дмитрич, пора выводить отсюда драгун, как ты прикажешь?.. или обождем еще маленько?..» Генерал на миг задумался. «А что – давай, выводим, Андрей Семеныч, выводим... много ли их осталось еще в таком-то пекле... выводим... передай Мезенцеву, чтобы прикрывал вас со своими егерями, и выводим...» Деревлев отдал трубу ординарцу и повернулся к лошадям: «Эх, Василий Дмитрич, одно жаль – поесть не дали супостаты... от самого утра куса во рту не лежало – а тут как раз Савелий куропатку испек...» В подтверждение своих слов полковник кивнул на стоявшего тут же растерянного молодого денщика, чье лицо было изрядно выпачкано копотью. Генерал Чухломской рассмеялся. От денщика и вправду несло изжаренной на костре дичью.

Примерно полчаса спустя, оставив батальон каргопольских егерей для прикрытия арьергарда, генерал Чухломской отдал приказ отходить к Хемницу. Решив не дожидаться, пока свернется ставка, я пожал на прощание руку приветившему меня первым адъютанту, пожелал ему удачи и, вскочив в седло, двинулся вверх по склону уже знакомой мне каменистой тропкой.

Зрелище, представшее моему взору, едва я выбрался, наконец, на дорогу, в миг единый лишило меня остатков недавней душевной бодрости: зрелище это, удручающее и непостижимое, было – отступающая русская армия, безмолвная и беспорядочная.

На всем протяжении дороги группами по двое-трое, а то – по одному даже брели легкораненные, всякий раз ужасая непривычный глаз видом сочащейся сквозь наспех сделанные повязки крови. Они двигались медленно, молча останавливаясь и сторонясь, также беззвучно пропускали мимо редкие повозки, словно бы на плечах у них не висели превосходящие в силе французы. Оглянувшись, я различал иногда их лица: безразличные ко всему лица изможден-

ных людей, для которых уже не было вовсе на свете многого из того, что еще совсем недавно составляло самую сущность их бытия – уставы, артикулы, начальство, товарищи, сама война...

На том месте, где некогда я обнаружил русский обоз, специальная команда занималась тем, что рассаживала людей по повозкам, каковых, впрочем, едва ли могло хватить на всех в них нуждавшихся, – ибо все новые и новые раненые прибывали со стороны реки. Найдя какого-то унтер-офицера и заручившись невнятным кивком его головы, я принялся помогать солдатам, которые, слава богу, отнеслись к этому, как к должному – не выказав ни удивления, ни насмешки...

Не помню, сколько времени я посвятил данному занятию, – должно быть, не слишком много, ибо обстоятельства понятным образом требовали ото всех изрядной проворности, – скажу лишь, что самому мне все показалось длившимся единый миг, вернее даже – длившимся единый миг безвременья, когда Господь, как некогда, во времена Иисуса Навина, способен, в угоду своим возлюбленным чадам, направлять непрекращаемый ход часов вспять. Словно бы все происходило в полном молчании, – тогда как на самом деле воздух вокруг был буквально пересыщен сонмищем различных звуков: от не смолкавшей ни на миг канонады за рекой до леденящих душу стонов и хрипов, а также взрывающейся то тут, то там частыми короткими сполохами злобной, в сердцах, ругани.

Раз, помогая сдвинуть с места повозку, застрявшую колесом в сокрытой от глаз яме, я едва успел отпрянуть, избежав печальной участи быть раздавленным мощной драгунской лошадью, – подняв глаза, я, к удивлению своему, узнал в конном того самого солдата, которому давеча адъютант генерала Чухломского наказал позаботиться о моем Барсе. Вместе с тремя своими товарищами он поддерживал рукой сооруженные из подручных средств носилки, провисшие под тяжестью чьего-то маленького и беспомощного тела. Не слишком церемонясь, драгуны прокладывали себе путь во всеобщей суете; затем, достигнув цели, они остановились, после чего, передав на время носилки двум обозным солдатикам, спешили и, подхватив вновь свою ношу, принялись осторожно укладывать её на устланную соломой рессорную коляску, неведомым образом оказавшуюся среди армейского имущества. Когда они закончили свой труд, я смог, наконец, разглядеть лицо лежащего на носилках – и ужаснулся, узнав полковника Деревлева. Но сколь разительно переменился теперь его облик! Старый полковник, еще совсем недавно бывший образцом невозмутимости, теперь стонал, мотая из стороны в сторону маленькой седой головой, сквозь расстегнутый мундир виднелась белая, надорванная от ворота сорочка... Кажется, я незаметно для себя самого подошел ближе, ибо чуть погода вполне отчетливо разглядел его сухие, ставшие почти бескровными губы, шептавшие в беспмятстве: «полегче, голубчики, полегче...» Я непроизвольно отшатнулся...

Обернувшись, я вновь столкнулся с моим знакомым драгуном, однако на этот раз – глаза в глаза, так, что он не мог меня не заметить. Действительно, легкая гримаска удивления на миг озарила его устало-безразличное лицо и затем исчезла без следа: «А, это вы, Ваше Благородие... что ж вы – ехали бы себе в Хемниц, бога ради... чего вам здесь... здесь и без вас, не ровен час, хлопот не оберешься...» Сказав это, драгун взял под уздцы своего коня и, отойдя на несколько шагов, вскочил в седло. Я принужден был посторониться. <...>

8.01.94, 21.11.98 – 26.12.98

Биография Пушкина

Помнилось потом смутно – детство у Елоховской, двухэтажная тишь...

В тиши город лежал бестолково, меры не зная: татарский, забытый, будто и не город вовсе – уездные усадьбы вкось да вкривь, едва ли не грибы растут – и тут же развалы всяческого мусора, рожи немытые разносчиков и нищих – и над всем этим черствеют на солнце пятиглавые кренделя времен Алексея Тишайшего... скука...

Скука... столичный фельдъегерь промчит его на «пади!» – и летит себе дальше – в Крым, в Бессарабию, в Новочеркасск, город же плывет, как и прежде, в навозе да в глухом колокольном перезвоне: лают собачки, скрежещут о поребрик экипажи – и даже хвастает собственным университетом, словно краденым...

С детства глядел – букою; отец – поручик, вертопрах, фронда; племя угасающее, жизнь расточать гораздое по гостинным да по домам веселым... суета...

В царствование Павла Петровича эдакое брюзжание мышинное – отблеском предыдущего правления; в собственном же дому – гам и конфуз... слуги непутевы... скандалом переваливая с тенора на фальцет дни тянутся...

...стоит, однако, сюда же присовокупить знакомства галантные – уже через дядю-стихотворца, коему и Париж рукоплескал, – чьим предпочтением сердечным сам Карамзин Николай Михайлович рад бывал воспользоваться...

С детства учили – как-нибудь... без пряников, без зуботычин... в отцовской библиотеке пропадал, забытый всеми, – в лукавстве упражняясь, исполненные лукавой антиквы страницы перелистывал... вольности чувств внимая, вбирая французской речи колкий мед...

В те годы – Сперанского витийство; удачливый попович Россией ворочал, рукава засуча: как прежде, как при Петре-Колоссе. Среди иных веяний – лицей; заведение незаурядное, государевым попечением призванное лучших фамилий неокрепших недорослей от барской косности ограждать, просвещением наук ум верткий и горячий устремлять державного служения во имя...

Весною же года тысяча восемьсот одиннадцатого столичная кутерьма и до Москвы докатилась: усадьбные старожилы, обветшалые завсегдатаи застолий рыпнулись было в Петербург, думая услужить, – да с тем и были отбриты, почти без изыятий... однако горевали недолго, рассудком пораскинув, обратились к юношеству, обратясь же, решились искать протекции, и сыскав, – определили на пансион – равно куда – хоть бы и в тот же лицей!..

Прочь от пенатов родительских!.. Ментором вышел – Василий Львович, дядюшка; попервоначалу в Петербурге – гостиница Демута, трактир: чужое все, неродное, неизящное... само собой, при первой же оказии из стен этих вон – туда, где шум, где Мойка-река извивается в граните, где громоздятся поступью дорической особняки – будто на военных репетициях...

...В Петербурге дядюшка не жил – пел; вставал за полдень, ехал наносить визиты собратьям-стихотворцам, молодости гвардейской милым компаньонам – иные уже вес приобрели: кто при дворе, а больше – по министерствам... заводя разговор, сперва возвышенных предметов касался: стихосложения незыблемой гармонии, после – хода дел государственных и затем уж – если беседа благоволила – просил участи племянника походатайствовать: малый кудряв, да остер – толк из него будет несомненный!..

...Мытьем ли, катаньем ли – а попечительство дядюшкино увенчалось; в лицей Алехашеньку приняли: что тому виной – древность ли рода, вельмож ли другорасположение, либо

собственная юнца бойкость – бог весть... а только заказан уж был ему и сюртук форменный – в дворцовом портняжном ведомстве, и после велено было явиться в Царское к октябрю, к началу занятий...

Лицей. Келья, каша. Общество долговязых отроков-стригунков; для дел государственных вдохновляемы – вчерашние барчуки ныне студентам впору: бог знает, как сложится затем, – туман, невидимо: иным по иностранному департаменту стяжать, иным – полки водить, а кому и по кнутобойному ведомству мыкаться означено – добро ли, лихо ли – грядущее нам от века заказано: грядущее – что мышь серая – каравай жизни точит...

«Хвалите – и хвалимы будете!...» После сроднились все: наперсник – сосед Пущин, нескладный дылда Кюхельбекер, милый Дельвиг – первый лицейский поэт... После прощаться горестно станет: «Что дружба? Легкий пыл похмелья...» Что дружба? Какие имена на предгрозовом своем одре суждено будет вспомнить – сквозь безумств пелену, сквозь хрип – и полно, так ли все было: так ли уж безмятежно было в тех садах, где вечная осень, в тех аллеях среди лип... среди тех статуй... не вообразить...

...И неким штрихом затем – события лета набегающего; под топотом, высекающим пыль, под июльскими косыми дождями тракт стонал глухой болью: шла через Царское гвардия... Тихо было: затевалась и смолкала затем бесконечная и бесстрашная солдатская песня – к судьбе слепая, до судьбы неохочая – взблескивали штывы, равнодушно ступали кони: «француз, вишь, шалит... бунтоваться... окорачивать идем, известное дело...»

...И иной эпизод – будто рояли клавишей перебор: подоспели переводные испытания – на старший курс. Ожидаемы были гости – Разумовский-министр, воспитанников родные, а всего любопытнее – сам Державин Гаврила Романович экзаменации посетить согласился...

Проняло старика; ныне много чтимый, да мало читаемый – и рад был бы лиру свою пииту новому уступить, да бог свидетель, некому ведь... Некому, некому, разве лишь Жуковский, тот талантлив, сие без сомнений, только... только к чину ли такой талант – что прыток, то не беда, прежде и сам бывал прыток, однако ж та прыткость на поверку выходит... неживая какая-то теперь прыткость, прыткость геометра, прыткость вальсового танцора... впрочем, как и само нынешнее царствование – хитроумство сплошное, на хитроумстве хитроумство!..

Пушкину же увиделось: мундир сенаторский грудой, из груди старик дряхленький, губы отвисли – частью дремал, частью разглядывал – да не воспитанников разглядывал, нет – иных лиц, из состава экзаменуемых – тщился сверстников определить, не иначе... не приведи Господь – себя пережить...

И лишь когда читал Александр – оживился: глазки сверкнули, весь вперед подался – аж стул закрипел... Присутствующие все к нему оборотились недоуменно – да Александра уж в зале и не было... бежал... забился... плакал...

...Говорила Евдоксия Голицына страстному юноше: галерником станешь! Говорила, кудри черные, жесткие оглаживая... Патокой змеилась ночь: вычурная, вечная – то жаром обдаст, то дрожью – иной раз – дерзко-велеречивая, иной раз – дерзко-уклончивая...

В Петербурге жизнь – сказочка, будто скрипка, будто шампанских тяжелых бутылок дружелюбная канонада, – неделями музу свою не утруждал: некогда было... Какое: в оперу навещивался ежевечерне, очами жадными актрис пожирал – и там же, походя, одноглазого Гнедича обставил, – дабы утерся кропотливый Гомеров ценитель...

...И прежде небезгрешен – нынче тем стал известен, что до блядей больно охоч: не раз, Венерой сраженный, к Меркурию был принуждаем... бывало, поутру в зеркало глядячи на рожу опухлую, темную: «...так вот кому, стало быть, петь и парить... мерзко...»

И другая страсть – эпиграммки... уж и откуда исток – бог судья: ...бывало – слушок, бывало – за ужином от друзей-гусаров анекдотец: «...встречаются пристав Литейной части с приставом Садовой...» И следом устрицы, лимоном пахнущие, и вино, и вина – много...

...На том, видать, и погорел: кабы знать, что все вокруг собираемо... собираемо, нуме-руемо и помещаемо в шкаф – дальше уже как водится: когда пылится, а когда вдруг обретает безжалостный ход...

...В мае года двадцатого выслан был из столицы – переводом в распоряжение главного попечителя колонистов Южного Края... В глушь, в Екатеринослав. Выслан – оно и вправду, быть может, к пользе: столица пообрыдла – все сущее сквозит отвращением. Все тяготит: и пища, и красавиц дурные улыбки – лишь дорогой спасение. Дорогой, дорогой – когда небо простоквашею, когда зарябят в глазах полосаты версты... холодный воздух... мчаться быстро...

...И новое пришло: держава. В пути захворал – сказалось нервное...

Лечили сосны: вековые, неподвижные, – и мало-помалу извелась собой блажь – уже и обида не тяготит, и с пылью, с воздухом хвойным, едким ноздри свыклись – только ехать... дальше... неважно куда... прочь...

Тракты российские: в Великих Луках гостиница – пьянь, хрипуны... Плесенью поросший помещик да прапорщик безнадежный – в нумерах кровати, продавленные ерзающими боками бесчисленных коллежских секретарей – и, в дополнение, весьма клопами обжитые... Случись иностранцу – стошнит, не иначе...

Путь к югу лежал – Невель, Витебск, далее Могилев, Гомель и затем уже Чернигов, здесь начались края Малоросские – открывались повсеместно беззаботностью гарнизонных офицеров, сплевывающих черешневой косточкой, смуглыми, даром, что ранний месяц, чертами девиц местных, всеобщей насмешливостью какой-то – самый воздух здесь был насмешлив, и того и гляди, родит особого рода насмешливого гения... После в Каменке у Раевских гостил – и там то же: небом звездообразным наслаждался, барышень простота обхождения – слышно, как в жилах струится кровь дорогим вином сладким...

Екатеринославский начальник новый – не томил. Инзов, душечка, князя Трубецкого Никиты Юрьевича незаконный сын, – гостем встречал – службой обременять и не мысля, о прибывшем лестный отзыв тут же в столицу препроводил, а вскоре и вовсе рукой махнул: молодозелено...

Молодозелено: глазом моргнуть – уж и след его простыл. Милым семейством обласкан, вместе с ними – в путь; из грязной хаты, где в лихорадке страдал, – снова на юг, к Кавказу, в рессорной коляске барышень Раевских забавляя, старому генералу почтительный слушатель, молодому ротмистру верный компаньон...

...Сперва Кавказа в очи глотнул: сереброликий край; справностью казачков наслаждался, черкесов косматыми шапками – и, конечно, горы, горы, что Ноя мудрого помнят, что вздымаются отсюда богоступной дорогой туда, к Арарату, и дальше, к самой Святой Земле... В Минеральных Водах почти два месяца проторчал – сеансы; едва пришло выздоровление, – вновь в путь, сначала в Тамань – городишко гнусный, оттуда через пролив в Керчь – и явился летний Крым сонным яблоком, сперва развалинами Митридатова городища, где копошился присланный из столицы французик, после – морем в Юрзуф, мимо берегов зелено-черных, мимо яичной скорлупы татарских деревень... Из Юрзуфа верхами через Ай-Данильский лес до Никитского сада – и затем спустились в Ялту; на следующий же день – вновь в горы, заночевали в татарском дворе... в неделю объехали все крымские древности – и те, в которых некогда

обитали блудливые античные боги, и те, в которых византийские диссиденты прятались гонений, – и в самом сердце Крыма ханскую столицу, Бахчисарай, с ее забытым дворцом... Неделю провели при Симферопольском губернаторе – и здесь приспела разлука: вынужден был с Раевскими проститься и отбыть в Кишинев – к новому месту службы...

Не городишко – каламбур. От Одессы – сто шестьдесят одна верста; повсюду битком молдавских бояр, надменных и диких, какие-то мятежные сыны балканских народов всех мастей, – с щемящей тоской глядящие куда-то туда, за Прут... Но больше всего военных: полк Охотский, полк Камчатский – без малого, вся наша география, в городе штаб Шестнадцатой Пехотной дивизии генерал-майора М.Ф.Орлова, да еще к тому – господа из Генерального штаба, прибывшие на топографическую съемку... Некоторое подобие бивуачного котла – другой раз, спустя много лет, вдруг узнает по духу знакомое – тогда уже, однако, багрянцем войны взаимправдашней озарен, – в Эривани, при армии Паскевича.

Бедовалось незатейливо: среди бездомных да подневольных – начальства баловень и застолья шут: всегда к услугам и чей-то кров и чей-то хлеб, всегда к удовольствию – чью-нибудь глупость смазать словом хлестким по холеной скуле: нужда будет – недалеко и пистолеты...

То и дело отлучался: то в Каменку, то в Киев; раз слух пошел, – в Москву сбежал... только пустое: далась та Москва! Здесь, вблизи, веселее – в те годы меж офицеров Южной армии такое завязывалось... Не приведи Бог: тут и царская дороженька, и царский дом, и царские ласки – кнут да каторга... По всему, быть Пушкину доносом оглашенным – да, по счастью, не успел: следствием реорганизации управления краем направлен был в Одессу:

прощай, бедовый Кишинев, не поминай лихом...

В Кишиневе дворяне – бояре, в Одессе бояре – жида; торжище повсеместное – мой Бог! Градоначальники хлебными контрактами не гнушаются, с тем и льется пшеница золотой рекой за море, а взамен – субстанции изысканные – все же город: и рестораны есть, и опера, и лицей свой собственный... и общество, принужденное держаться приличий (кишиневскому в пику).

По приезде тут же обзавелся привычками: остановился на Итальянской, в Hotel du Nord, обедать завел обыкновение там же, либо у Отона, либо в греческой ресторане Дмитраки – кофе же пить ходил всегда в кофейную Пфейфера на Дерибасовской.

Возобновил обычай идолопоклонства театрального – итальянцы заезжие Россини давали ежевечерне: «Севильский цирюльник», «Сорока-воровка», «Золушка»... Посредственность труппы скрадывал воздух томный, морской – чем не Италия...

...а помимо этого – казино не пренебрегал, чистая напасть: гонорары ли из столиц, прежде на Руси неслыханные, жалование ли по чину (700 руб. ассигнациями в год), шальные ли поступления из вотчин нижегородских либо псковских – все сметала лихорадка игры; случалось, с извозчиком расплачивался криком – тот в ужасе улепетывал, крестясь: «экой барин характерный, черт...»

Впрочем, и по-иному судьбу пытал: раз лунной ночью в обществе грека-предсказателя выехал на волах в поле – холодным светом глаза жгло; истомясь, продрог: без малого – час шипел грек древние боспорские заклинания и все же родил: «быть тебе, сударь, мертвым от лошади... от лошади либо от человека беловолосого... не иначе, сударь...»

И вернулись в город.

...И пуще всего, поверх чувств иных было – недоумение: мелочь, баловень, молокосос никчемный – и так не ставить ни во что... лишь зубы скалить чертом... Таковы нынешние – и не один Пушкин, – к несчастью, злак сей взошел изрядно...

И где бы – ведь здесь!.. где грамотного чиновника днем с огнем... где не с кого спросить и поручить некому... взамен же удаль одна – добро бы на войне удаль, а то удаль канцеляр-

ская... «саранча летела, летела... села... поела... опять полетела...» Граф аж вспотел от волнения: «о просвещении пекутся – понимают же под оным лишь щеточки для ногтей да развязность... устои для них – не устои, не больше чем прах: семья, владительство, государство... Зане бредят Британией и в том преуспели – Байрона декламируют и мыслят тем Британию исчерпать... и об ином невдомек...»

...и снова Пушкина вспомнил: «... все же коллежский секретарь из непригоднейших... даром, что Инзова протеже... дерзок... за женой волочитя, дурень... стоило б, по-хорошему, Нессельроде донести, да мараться не пристало б – хотя бы и добро – проучить шута... впрочем, незачем спешить... повременим... не ровен час – сам оступится... повременим, повременим...»

И зашагал по кабинету, насвистывая...

Голосишком тоненьким, комариным – эдакая пиеска... эдакая, в духе рокального, канцелярская поэмка – не более того... Сквозь шелест бумажный, сквозь фельдъегерскую гоньбу вырисовывается... да вы сами знаете, что, собственно, вырисовывается, – тому утешением лишь сказочка, после за мадерой сказанная, да партия в винт – и непредосудительно уже тогда оборотиться и к анналам...

Тому началом – известная Воронцовская реляция от марта, шестого числа – и не реляция вовсе, так: частным порядком рассуждения благонамеренные: «... нельзя быть истинным поэтом, не работая постоянно для расширения своих познаний, а их у него недостаточно...»

Чем не отец – однако же недели через три иному уже адресату: «...и я прошу Ваше Сиятельство испросить распоряжение Государя по делу Пушкина.»

Затем, апреля восьмого – опять-таки частное послание: «...и я буду очень рад не иметь его в Одессе».

И по новой – двадцать девятого...

И в мае – второго, едва не плача, по команде, затем четвертого, другу весьма влиятельному...

И, наконец, шестнадцатого – ответ: «...и я представил императору ваше письмо о Пушкине...» И – молчок.

Июня, числа девятого или около того, уходит в Петербург прошение коллежского секретаря Пушкина об отставке «по слабости здоровья» совокупно с комментарием Воронцова, растерянности и недоумения полным... И в ответ – ни гу-гу...

И лишь двадцать седьмого – что-то определенное: «Государь решил и дело Пушкина: он не останется при вас...»

И закурилось: была затребована справочка официальная, о материальном положении и источниках дохода семейства Пушкиных; затребована, подшита и изучена – и следом, июля шестого – высочайшая резолюция о высылке, и через пару дней уже – венцом – «повеление находящегося в ведомстве Государственной Коллегии Иностранных Дел коллежского секретаря Пушкина уволить от службы вовсе...»

Дальше – гуще: одиннадцатого – повеление о переводе на жительство во Псковскую губернию, в ответ – отношение Нессельроде в Ригу к маркизу Паулуччи; на него – предписание Паулуччи Псковскому губернатору Адеркасу, и в те же дни распоряжение Воронцова одесскому градоначальнику Гурьеву, тому же Адеркасу посланное копией во Псков. Двадцать девятого у Пушкина отбирается подпись «...без замедления отправиться... нигде на пути не останавливаясь...», выдается жалование и прогонные. Первого утром он – в пути.

Но тем не кончилось: от двенадцатого – донесение Воронцова Нессельроде в Петербург; через неделю Пушкина вызывают в Псков к губернатору, дабы отобрать очередную подписку о благонадежности, затем двухнедельное затишье и вновь эпистолярный экстаз: рапорт Адеркаса Паулуччи об отказе Рокотова шпионить за Пушкиным и о назначении шпионом отца

поэта, статского советника С.Л.Пушкина – на это, в свою очередь, благожелательное уведомление Паулуччи псковского губернатора и, копией, опочецкого уездного предводителя дворянства А.Н.Пещурова.

И с этим – все, не считая, впрочем, рутинного урегулирования финансовых издержек, выпавших благодаря означенным мероприятиям на долю Министерства Иностранных Дел Российской Империи...

Как жил? Как придется: по приезду помещенный в детскую старого дома Ганнибалов, он так и остался в ней на зиму – дверью напротив обитала старушка-няня, иные же помещения: и бильярдная, и господские комнаты, не слишком, впрочем, вместительные, в которых до отбытия своего в Петербург теснилось все бестолковое его семейство, стояли холодными и как бы опечатанными – да в них и нужды не было.

Итак, с поздней осени был один – впервые. Хандрил в ознобе сперва – одесскими буйными ночами бредил – затем улеглось.

Читал. Благо, заказанное доходило исправно. Пометки делал. В первые еще дни, вдруг чему-то необъяснимому вторя, бросился записывать за бабами песни – да так, мало-помалу, и за полсотни перевалил... свадебные и другие. «Авдотья Вдовина», «Уродился я несчастлив, бесталанлив...»

...Пугал дворовых пистолетной пальбой. Случалось, за утро до сотни зарядов освобождал – нравилась руки бесовская сила, мишени упругость злая да дыма серый дух – бесовский опять же...

По первому снегу жизнь ужималась до просвета в оконце – становилось тихо, кружась, оседала на наст невесомая хвойная шелуха: иголки, чешуйки, кусочки коры, – и, бывало, парным следом открывал себя поутру заяц... Редкие прогулки делал в пустые леса, на замершую речку, где резвились до пара и расквашенных носов деревенские ребяташки, старался до темноты вернуться домой – к чаю горячему, к нянькиным сказкам...

...Прочие же месяцы проводил подобно герою своему: часами катал два костяных шара по зеленому бархату, а нет – подводили ему лошадку и уезжал – до самого ужина. Возвращался рысью, а то – поводья отпускал, давая жеребцу самому домой брести, папоротники пышные подминая. Осенью любил глядеть подолгу на воды черную гладь, чешуйками золотыми крапленую, подобно шкуре застывшего дракона из старой книги – охотничьими забавами же, напротив того, манкировал – к сей популярной в отечестве нашем страстишке вполне равнодушен, старался к тому же с соседями-сумасбродами поменьше знаться, да те и не досаждали: надзор, опала...

Все же исключения были – и какие! Тому в трех верстах от Михайловского – левым берегом Сороти к западу – старинное имение Тригорское, некогда пожалованное лихой императрицей в свой коронный год верному Шлиссельбургскому коменданту, – ныне владение шумных помещиц: Прасковьи Александровны, приходившейся тому коменданту внучкой, ее дочерей от первого брака, Анны и Евпраксии, падчерицы Александры, а также двух племянниц – Анны Вульф и красавицы Анны Керн, выданной некогда замуж за дивизионного командира Еромолая Керна, старого и мерзкого шута, стоявшего со своими войсками где-то под Могилевом. А еще каникулами гостил дерптский философ Алеша Вульф, приятель поэта Языкова, донжуан и винопийца...

То ли еще ссыльному романтику: усадебная идиллия – барышни непритязательны и все же весьма милы – впору влюбляться в каждую попеременно, а то – хоть и сразу во всех. Так ведь и было – при том иных держал лишь за сосуд, пустому вину игривых шуток предназначенный, иные же бросали в жар – года пройдут, уляжется многое, за матовым стеклом усталости осядет прежде мимолетное серым свинцом мелочных обид да показной эпистолярной неучтивостью...

Никола Мирликийский... Miracle-maker... путника приюти: пешего приголубь, конного убереги – от человека недоброго, от мора, от травы, что клонит в сон, от зависти ближних, от досужих сплетен сохрани и спаси...

Звоном колокола немы... Колоколам нескромным языки – долой: дел человеческих суеты в белом камне след – келий сырые темницы да монастырских преданий кислое вино... Отведи удар, угодник, – дай сил прожить-миновать: чары когтистые гиблого места, городища Воронича...

По спинам ив горбатых доходит ветром запах чужой, невнятный – старинной границы близость, за ней – земля без шири, да с высью, божницы иглами, а поверх игл тех – петушки немецкие, кованые... забавная земля, ухоженная, торговлей раздобревшая – сгнуться в ней бесследно, затаиться, пропасть – ласкова земля к беглецам – и самому забыть все: отца родного, косые дожди, полынь ломкую, сухую, да ковыли бесконечные, текучие – неведомо куда, до горизонта...

...с конца второй осени уже тлело чувство – не за горами отъезд; будто бес какой подзуживал: отлучись. Отлучись, краев здешних постылых запах забудь хоть на неделю, окунись в столичных шелков шелест – и после уж назад... Да едва не вышло: уже по получении известия о смерти Государя – думая на авось да на суматоху, династическими колебаниями произведенную, приказал было повозку готовить – и сам в Тригорское. И на беду по пути через дорогу – заяц. С соседями простясь, назад – и снова заяц путь пересек; дома же – все к одному: слуга, назначенный ехать, выясняется, в горячке; назначил другого, наконец трогаются – стоп, в воротах священник – принесло с барином проститься... Плюнул тогда, пнул повозку – и велел распрягать...

...и после понял – к добру: не одумайся тогда – аккурат, поспел бы в Петербург тринадцатого декабря под вечер, и того мало – к Рылееву на квартиру, благо тот жил одиноко, неслышно... И с тем бы и погиб – в восторге упоенья, а чем – бог весть; так, несколько месяцев отступя, раз, дав перу вольную, вдруг отпрянул: с листа глянули висельники – ужасом, смрадом, и тогда, – не смея перо покарать, рукою дрожащей начертал в отвращении: «и я бы мог как шут на...» И переломилось тут перо.

Бабушкин дворец карминовый – давил. Вычурный, живой, почти китайский – громоздился в этом тусклом городе, захотевшем иметь его своим царем... Вдохнови, Господи, совладать: несть конца унылой державе, опухшей от безначалия, природно склонной к произволу, закона знать не желающей... Несть числа ее подданным, чьи помыслы лишь от «авось...» до «милостью не обойди...», чье понимание права сродни бунту, а бунта сродни конфирмации... Научи, Господи, жить как: ведь не готовился править; всю жизнь в полках, солдатского котла не гнушался, службу знал до лямки – так ведь не дипломат, не уклончив, подобно братцу Константину, юлить не приучен... На немцев одна надежда – те бедны и безродны, служить готовы искренне: дворян же местных распустил братец покойный, добром будь помянут, распустил... Ни одарить, ни наказать: за четырнадцатое декабря чего стоило расплатиться – еще дым не рассеялся – уже является какой-нибудь князь Василий либо граф Сергей Александрович: «...пощадите оступившихся, Ваше Величество, явите великодушие... ведь наши же дети... нелепо их на плаху, аки Оренбургского Самозванца...»

Нелепо... Наши дети... Вразуми, Господи, как быть с ними: одних только душ солдатских загублено сколько... То братца Александра пример да бабкин почин – проклятая держава: что ни воцарение, то кровь; кровью начнется либо кровью закончится...

...За что же жребий этот – входить во все: в журналов публикации, в мундиров покроя, в кавказских междоусобиц трясину... добродетель времен Петра Великого, да ведь век уже прошел! век целый!

...Одно ясно: чувственность надобно искоренить, взамен – правила, устав; аккуратных людей повсюду... уравновешенных... без рвения излишнего...

Чувственность Александр пестовал – все норовил монстрами себя окружать: то Сперанский этот, то отцовский Аракчеев – орудийный лафет или растяпа Милорадович... То вознесет кого по ерунде, то в Сибирь за пустяк... Самодержавие деспотизмом дискредитировать... негоже нынче... негоже... Взгляд его скользнул по гладкой щеке камер-лакея, подался вперед и тут же запутался в гардинах: в окна сочился бледный, чахоточный свет, приносил с Невы какие-то звуки, резкие и ритмичные: велись работы, укрепляли набережную.

...Когда же и в самом деле пришло – не узнал; сентября, третьего числа, к обеду ушел в Тригорское – день догорел, как подобает: в меру ясный, в меру печальный – той ранней осенью, когда все вокруг будто еще в соку – и все-таки витает в воздухе уже аромат отцветания и распада. И тем ароматом по-особому как-то весело на душе и пьяно...

В одиннадцатом часу провожаем был барышнями по дороге на Михайловское – оставшись один, думал о мимолетном, – и всего яснее проступала тоска некая, нездешняя, незнаемая – тоска европейских странствий, до сих пор не испытанная, – и тут уж грезилось испанских дворцов причудливой архитектурой и нравов дерзкой отточенностью, подобной клинку рапиры... С эдакими вот мыслями и ступил было в свои владения – и тут же на тебе, гостинчик: прибыло из Пскова лицо официальное – весьма немалыми эполетами обремененный Адеркаса нарочный: письмо губернаторово хоть и учтливое, да все же сухое – ни щелочки, ни царапинки... Одно лишь ясно – в Москву затребован, пусть не в колеснице – так ведь и не в кандалах: «по прибытии же... имеет явиться прямо к дежурному генералу Главного Штаба Его Величества.»

Тут началось: плачи, беги; Аринушка – в крик... Велел послать в Тригорское за пистолетами – какая же дорога нынче без пистолетов! Сам же тем временем иной порох жег – тетрадь черновую, автобиографическую. Да, колебнувшись на миг, черновики Годунова... Затем рассовал по карманам деньги, накинул шинель и около пяти, наконец, тронулись. Рассвело. Был туман.

Москва немотствовала; над городом, Петром отвергнутым, осеннее солнце, не торопясь, восходило, скользнув прощально по золоту куполов, будто возле самовара дородная купчиха, подобрав подол, – садилось вновь. Торжествами коронации затихли прошлогодние страхи – благородные, как это и прежде водилось, углубились в досужее изучение вакансий, прочие же смотрели на благородных, морщили лбы и чесали затылки: того ли еще...

И, как и прежде, – странноприимный дом; и как и прежде, – бредут слепцы Калужскою дорогой...

...По прибытии, восьмого, препровожден был в Кремль – мелькнуло на миг на крестах стаями галок да каменными у въезда в чью-то усадьбу львами – и тут же отрезало кирпичом стен, некогда итальянцем сложенных: внутри уже, передаваем друг другу вежливыми адъютантами, оказался вскоре пред дубовых дверей. И тут предложено было обождать.

...Медом тянулась минута: одна, другая... Лучик солнца, пробираясь сквозь окошко, слепя, убаюкивал... И лишь когда раскрылись вдруг двери, не настезь, но наполовину, и вкрадчивый голос негромкий произнес что-то и что-то еще, – лишь тут все вдруг улеглось, будто в лузу шар, будто некоей книги тисненый переплет тихо захлопнулся...

И, поправив сюртук, он шагнул вперед... И затворились за ним двери...

И будто вновь звук обрел: и как! Стократ! По улицам, по пыльным московским переулочкам – славы звон, молва... коронацией столица старая бесится... В театральной ложе лорнетов

скольжение – архивных юношей восклицания да вечеринками дружеская теснота... фамилии новые: Веневитинов, Киреевский... молодости чужой чума гасит зрелых мыслей тоску...

Заботы незнакомые явились – журнальные; а с ними надежды, с ними беды – то озноб, то жар... а то вдруг сорваться – непредсказуемо – в провинцию: в Боровичи, в Пустошку; там проигратся в пух заезжему какому-нибудь пьянице-ротмистру, отведать гнусных трактирных щей с тараканами и, одолжив пару сотенных, метнуться обратно с тучею на душе – и снова дорога, снова туманы, снова шелесты в овсе...

...Помимо иных имен – Мицкевич; покоренного народа великий сын: в глубинах взгляда таится домашнее барокко далекой родины... очага лишенный – к алтарю цивилизации принужден склониться: раз Пушкина растрогал до слез импровизацией на тему классическую, вечную – это ли не счастье судьбы художника?

...И, как водится, будто сквозь летний зной повеяло осенью ранней: и вот уже возобладала презираемая до того степенность, прежнее лукавство оттеснилось в уголки глаз нажитой усталостью: взамен пришли мысли матримониальные – так, в мае 1827, поехав в Петербург и обедая у Олениных...

Библиография

1. Летопись жизни и творчества А.С.Пушкина 1799—1826. Л., 1991.
2. С. Гессен, Л. Модзалевский. Разговоры Пушкина. М., 1991.
3. П. Губер. Дон-Жуанский список А.С.Пушкина. М., 1990.
4. Ю.М.Лотман. Александр Сергеевич Пушкин. Л., 1982.

4.03.91—19.11.91

Игра

Метель, начавшаяся накануне вечером, за ночь улеглась и с рассвета напоминала о себе лишь легкой поземкой, едва различимой дымкой, вьющейся над подвенечно-белым бархатом свеженаметанных сугробов.

В узкое, давно не мытое гостиничное оконце с двумя засохшими еще по осени мухами в углах рамы и предательски набившейся меж стекол крупной снежной крошкой нарождающийся день вписал сперва молочную предутреннюю дымку, прорезавшуюся вскоре смазанными очертаниями речной набережной, позже показался мост черным исподом свай, и, наконец, открылся глазу противный берег белыми отвесами крепостных стен, выдавших еще тевтонских рыцарей и Александра Невского.

Еще через час рассвело окончательно – глаз различал теперь отчетливо мост, чей-то ставший посреди его главного пролета экипаж, запряженный двойкой, шедшие с того берега сани с дровами, еще одни следом – порожние, рядом с которыми степенно и медленно вышагивал кто-то высокий в тулупе... Чуть ближе народ протоптал прямо по льду дорожку в обход моста – по ней гуськом, стараясь не рухнуть, оступившись, в сугроб и с трудом расходясь при встрече, тянулась в обе стороны бойкая вереница пешего простого люда: мастеровые со своим инструментом, бабы в платках, еще кто-то – все как один разогретые морозцем, веселые, довольные, что стихла метель и что настало утро...

За ночь прапорщик Щеглаков, приехавший сопровождать рекрутскую команду, просадил шулеру Покровскому двадцать шесть тысяч вчистую, в точности, как некогда, во дни былые, князь Голицын спустил графу Разумовскому собственную жену – не отводя зора. Сие само по себе прискорбное обстоятельство обернулось для молодого офицера еще более прискорбным по причине того, что лишь малая часть проигранного – что-нибудь около четырех с половиной тысяч – принадлежала самому Щеглакову, тогда как прочее относилось к казенной кассе и должно было быть передано в руки полкового адъютанта майора Кременца не позднее восемнадцатого числа сего месяца, то есть через семь дней. Разумеется, никакой возможности расплатиться в эти или даже много большие сроки не существовало, – как невозможно было перезанять где-либо требуемую сумму: ни жалование, ни скорбный доход от заложенной еще покойным батюшкой тверской деревеньки Поныряево не смогли бы оказать должного впечатления на займодавца, случись и впрямь таковой. Одним словом, положение было – паршивей некуда, и лишь шампанское, в обилии выставленное игрокам хозяином гостиницы, скрадывало до поры предчувствие катастрофы искрящейся пеленой немногословных шуток...

Щеглаков вернулся в номер в половине девятого утра, в пылу недавнего азарта еще не в полной мере сознавая непоправимость своих нынешних обстоятельств. Толкнув резким движением дверь (та в ответ тягостно скрипнула раздавленной лягушкой), офицер сделал несколько шагов вглубь комнаты, затем остановился, сложил руки крестом на груди и, мгновение спустя, не разуваясь, снопом повалился на постель: первая по счету попытка избежать судьбы состояла в том, чтобы спрятаться от неё в сон. Щеглаков сомкнул веки, однако заснуть, несмотря на предшествующее всенощное бдение, так и не смог – почти сразу же перед глазами поплыли какие-то цветные круги, гладкое, ухоженное лицо Покровского, его аккуратные, с легкой серебристой проседью бакенбарды, затем почему-то привиделись его пальцы – такие же гладкие, тонкие, едва ли не женские пальцы, привычным щелчком распечатывающие колоду... Тут же, без какого-либо перерыва Щеглакову представились, напротив, толстые, узловатые, в увесистых перстнях пальцы собрата по несчастью – богатого местного помещика Черемисского, все время, однако, игравшего мирандомом и, верно, спустившего за ночь не так уж и много... Щеглаков вздрогнул, в мозгу возникли вдруг, одна за одной, подробности закон-

чившейся игры – отчетливо, словно бы опять все это происходило наяву: «двойка... семерка пик... дама червей взяла... да... затем тройка легла налево... дама убита... так... тройка Черемисского убита тоже... туз, туз бубновый... валет пик убит... эх, если б не валет этот... да загнуть еще два угла потом... все можно было б поправить еще... еще можно было б... отыграться... вовсе отыграться... и даже более того... хотя, нет, что ж это я – мне бы отыграться только, и все!..» Он вновь широко открыл глаза: «...туз бубновый взял... верно ведь – тот туз бубновый всему виной... да, именно бубновый туз, арестантский... он и есть...» Щеглаков порывисто вскочил, метнулся к стоящему на столе железному ящичку для перевозки денег и, нащупав ключом замочную скважину, отпер дверцу. Рука нашарила внутри кипу ассигнаций, Щеглаков отдернул её, зажег свечу, после чего вернулся к ящичку и разом выгреб все его содержимое на кровать. Секунду спустя, он уже сидел рядом и, беззвучно шевеля губами, пересчитывал банкноты.

Набралось не так уж и мало – где-то около восьми тысяч ассигнациями и еще немного мелочи серебром. Щеглаков возблагодарил Господа, что нашел в себе силы вежливо отклонить предложение банкомёта сыграть далее «на мелок», последовавшее как раз в тот момент, когда карманы его вконец опустели, – не то и этих бы денег он теперь не увидел. Впрочем, и без того проигрыш был ужасен – Щеглаков, наконец, ощутил, что называется, кожей его масштаб, а также – не менее отчетливо – его возможные, а попросту говоря, неизбежные последствия: считай – не считай, а восполнить растрату в двадцать две с лишком тысячи было решительно нечем. Дрожащими руками прапорщик сложил банкноты стопочкой, одну к одной, вернув их затем в железный ящик. «Что ж это я... как же так... как же это вдруг произошло со мной?..» Соединив за спиной руки, он принялся ходить по комнате, от стенки к стенке. «И почему со мною это произошло, не с кем другим, а со мною именно?.. ведь я же... ведь я же ничего такого не совершал... вовсе ничего, ровным счетом... ведь я же как все... как все, решительно... ведь это ж несправедливо, ей-богу!..» Он представил вдруг себе очень отчетливо исполненное какой-то бездонной, причем не столько физической, сколько иной какой-то муки, лицо унтер-офицера из соседней, четвертой роты, проворовавшегося и удостоенного за то шпицрутенов – высокого черноусого богатыря, еще совсем недавно украшавшего своей статью батальонный строй. «Что ж, этому Фоме Удомлину еще лучше даже, чем мне, – выпороли и все, взятки гладки...» Щеглаков нервно усмехнулся. «Нижние чины имеют преимущество, что ни говори...» Он вновь навзничь упал на кровать. «А как же мне теперь?.. стреляться?.. или, если не стреляться, – то что ж, тогда под суд?.. под суд, лишение прав состояния, разжалование в рядовые либо каторга...» Он вдруг произнес по складам: «Ка-тор-га... каторга, да-с... оч-чень весело – каторга... какое слово нелепое, грубое, будто баграми железными тащат...» Прапорщик прикрыл глаза, к горлу легкой минутной спазмой подступила тошнота, обязанная, по всей видимости, выпитому шампанскому. «Господи, позор-то какой!.. какой нелепый!.. чем так – уж лучше стреляться, в самом деле... одним махом – и все...» Щеглаков с шумом выдохнул воздух, затем представил явственно собственные свои похороны, седого, как лунь, священника, родившегося задолго до него, Щеглакова, и, тем не менее, его пережившего; следом явились в воображении лица товарищей, батальонных офицеров: вот они стоят, стараясь сохранять приличествующее случаю серьезное выражение, тогда как в мыслях своих уже давно направляются в жидовскую харчевню водку пить... «Да и будут ли вовсе похороны, если стреляться?.. ведь это ж... запрещено, кажется...» Щеглакову стало обидно еще более, чем прежде. «Как же я!.. как же я так... ведь еще третьего дня... да, что там – еще вчера утром все, решительно все было хорошо!.. все – как нельзя лучше!..» Он едва не заплакал. «Ведь я же молод еще... только и начал жить... кому станет пользы от того, что меня не будет?.. и почему это устроено так: всем надо теперь, чтобы меня не было, чтобы я застрелился?.. какой в этом смысл?.. ведь я же ошибся просто – не более того... ошибся, что стал играть, да еще не повезло случаем – и неужели же из-за этого я должен быть лишен жизни?.. какие разные, чудовищно

разные вещи: маленькие раскрашенные бумажки – и моя жизнь!..» Щеглаков ощутил прилив какого-то странного вдохновения. Маленькие раскрашенные бумажки, к иным из которых еще час тому назад прапорщик обращался про себя не иначе, как «милая» или «родная», теперь казались ему чем-то мерзким, нечистым, навязанным со стороны. «Право, как может жизнь зависеть от раскрашенных бумажек?.. ведь это ж ошибка какая-то... ведь этого не может быть никогда... решительно никогда не может быть!..» Он рывком сел. «И ведь в самом деле, никому от этого не станет лучше... словно бы деньги эти возникнут сами собой... напротив даже, определенно возникнут дополнительные убытки и хлопоты... и нужно будет что-то делать, наверное... да, так оно и будет – я это явственно вижу сейчас... и при этом, по крайней мере, один человек – моя матушка – сделается навсегда несчастной... будто бы и в этом состоит цель – сделать несчастной старую женщину, у которой в целом свете кроме меня и нет никого!.. разве ж это по-христиански – отнимать у матери сына?..» Щеглаков нагнулся вперед и закрыл лицо руками. Перед глазами вновь поплыли давешние цветные круги, и тотчас же резким властным обручем схватило в висках. Щеглаков отдернул ладони и, подняв голову, еле слышно прошептал: «Нет, не могу...» Ему до боли вдруг стало ясно, что ни при каких обстоятельствах он, прапорщик Щеглаков, не сможет, да и не захочет наложить на себя руки...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.